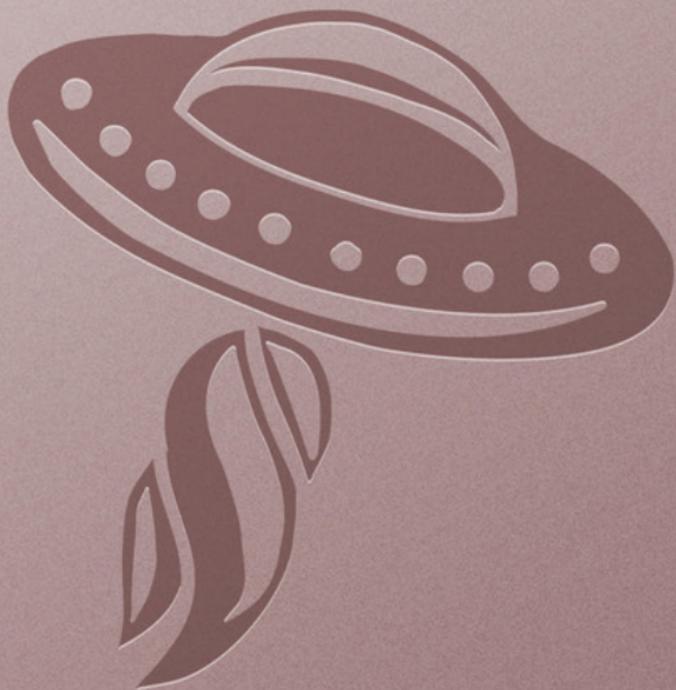


Антон Чехов

Приданое



Антон Павлович Чехов

Приданое

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22114731

Чехов А. П. Приданое // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 2. [Рассказы. Юморески], 1883 – 1884.: АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.; Москва; 1975

Аннотация

«... В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника Чикамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себе маленькую сырую женщину, лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чужой», гость, «молодой человек» – и этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой...»

Содержание

Антон Павлович Чехов

Приданое

Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три окна, и ужасно похож на маленькую, горбатую старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дворами, и входит в состав Московской улицы. Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто ходит.

Ставни в домике постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любят свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шелковиц, акаций и репейника, равнодушны к природе. Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не ценят люди того, чем богаты. «Что имеем, не храним»; мало того, — что имеем, того не любим. Вокруг

домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике же, – увы! Летом в нем знойно и душно, зимою – жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно...

В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника Чикамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себе маленькую сырую женщину, лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чужой», гость, «молодой человек» – и этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой.

– Кого я имею честь и удовольствие видеть? – спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, в которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачем пришли. Ужас и изумление сменяются пронзительным, радостным «ах!» и закатыванием глаз. Это «ах», как эхо, передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню... и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разногласными радостными «ах». Минут через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване, и слышите, как ахает уж вся Московская улица.

Пахло порошком от моли и новыми козловыми башма-

ками, которые, завернутые в платочек, лежали возле меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки. На тряпочках сытые мухи. На стене портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками и прикрытый стеклом с разбитым угольщиком. От архиерея идет ряд предков с желто-лимонными, цыганскими физиономиями. На столе наперсток, катушка ниток и недовязанный чулок, на полу выкройки и черная кофточка с живыми нитками. В соседней комнате две встревоженные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки и куски ланкорта...

– У нас, извините, ужасный беспорядок! – сказала Чикамасова.

Чикамасова беседовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой всё еще подбирали выкройки. Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вершок, то затворялась.

– Ну, что тебе? – обратилась Чикамасова к двери.

– Où est ma cravate, laquelle mon père m'avait envoyée de Koursk?¹ – спросил за дверью женский голосок.

– Ah, est-ce que, Marie, que...² Ах, разве можно... Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous...³ Спроси у Лукерьи...

«Однако как хорошо говорим мы по-французски!» – про-

¹ Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска? (*франц.*).

² Ах, разве, Мария... (*франц.*).

³ У нас же человек, очень мало нам знакомый... (*франц.*).

чел я в глазах у Чикамасовой, покрасневшей от удовольствия.

Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую девушку, лет девятнадцати, в длинном кисейном платье и золотом поясе, на котором, помню, висел перламутровый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, несколько рябоватый нос, с носа пошло к глазам, от глаз к вискам.

– Моя дочь! – пропела Чикамасова. – А это, Манечка, молодой человек, который...

Я познакомился и выразил свое удивление по поводу множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза.

– У нас на Вознесенье была ярмарка, – сказала мать. – На ярмарке мы всегда покупаем материй и шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семеныч достает не особенно много, и нам нельзя позволять себе роскошь. Приходится самим шить.

– Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас только двое.

– Ах... разве это можно носить? Это не носить! Это – приданое!

– Ах, татап, что вы? – сказала дочь и зарумянилась. – Они и вправду могут подумать... Я никогда не выйду замуж! Никогда!

Сказала это, а у самой при слове «замуж» загорелись глазки.

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потом покормили

малиной со сливками. В семь часов вечера был ужин из шести блюд, и во время этого ужина я услышал громкий зевок; кто-то громко зевнул в соседней комнате. Я с удивлением поглядел на дверь: так зевать может только мужчина.

– Это брат Петра Семеныча, Егор Семеныч... – пояснила Чикамасова, заметив мое удивление. – Он живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не может выйти к вам. Дикарь такой... конфузится чужих... В монастырь собирается... На службе огорчили его... Так вот с горя...

После ужина Чикамасова показала мне епитрахиль, которую собственноручно вышивал Егор Семеныч, чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила с себя на минуту робость и показала мне кисет, который она вышивала для своего папаши. Когда я сделал вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел штук пять больших сундуков и множество сундучков и ящичков.

– Это... приданое! – шепнула мне мать. – Сами нашили.

Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться с хлебосольными хозяевами. И с меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мне сдержать лет через семь после первого моего посещения, когда я послан был в городок в качестве эксперта по одному судебному делу. Зайдя в знакомый домик, я услышал те же аханья... Меня узнали... Еще

бы! Мое первое посещение в жизни их было целым событием, а события там, где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, мать, еще более потолстевшая и уже поседевшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю материю; дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разбитым уголышком. Но перемены все-таки были. Возле архиерейского портрета висел портрет Петра Семеныча, и дамы были в трауре. Петр Семеныч умер через неделю после производства своего в генералы.

Начались воспоминания... Генеральша всплакнула.

– У нас большое горе! – сказала она. – Петра Семеныча – вы знаете? – уже нет. Мы с ней сироты и сами должны о себе заботиться. А Егор Семеныч жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. В монастырь его не приняли за... за горячие напитки. И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съездить к предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, он несколько раз открывал сундуки и... забирал Манечкино приданое и жертвовал его странникам. Из двух сундуков всё повытаскал! Если так будет продолжаться, то моя Манечка останется совсем без приданого...

– Что вы говорите, тата! – сказала Манечка и сконфузилась. – Они и взаправду могут бог знает что подумать... Я никогда, никогда не выйду замуж!

Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок и видимо не верила в то, что говорила.

В передней юркнула маленькая мужская фигурка с большой лысиной и в коричневом сюртуке, в калошах вместо сапог, и прошуршала, как мышь.

«Егор Семеныч, должно быть», – подумал я.

Я смотрел на мать и дочь вместе: обе они страшно постарели и осунулись. Голова матери отливала серебром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лет на пять, не больше.

– Я собираюсь съездить к предводителю, – сказала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом. – Хочу жаловаться! Егор Семеныч забирает у нас всё, что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. Моя Манечка осталась без приданого!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.

– Приходится всё снова шить, а ведь мы не бог знает какие богачки! Мы с ней сироты!

– Мы сироты! – повторила Манечка.

В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку Чикамасову. Она, одетая во всё черное, с плерезами, сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел старичок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из гостиной...

В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась и сказала:

– Je suis charmée de vous revoir, monsieur.⁴

– Что вы шьете? – спросил я немного погодя.

– Это рубашечка. Я сошью и отнесу к бабушке спрятать, а то Егор Семеныч унесет. Я теперь всё прячу у бабушки, – сказала она шёпотом.

И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней на столе, она вздохнула и сказала:

– Ведь мы сироты!

А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих, робких шагов... Было всё понятно и было так тяжело на душе.

⁴ Очень рада снова видеть вас. (*франц.*).